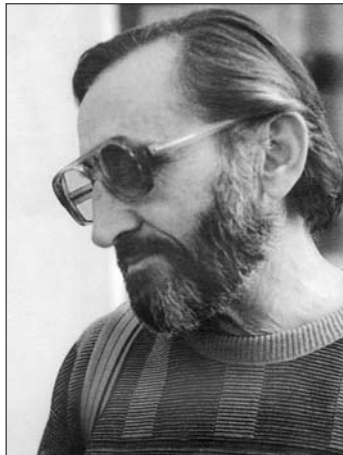


ЮРИЙ УБОГИЙ



ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Теория “Большого взрыва” о происхождении Вселенной, наиболее признанная и популярная на сегодняшний день, может и матёрого материалиста и атеиста заставить посомневаться в своём мировоззрении. Огрублённо и попросту говоря, всё мгновенно произошло, возникло из ничего, из точки некоей, исчезающе малой. И стало разлетаться, усложняясь, по так же мгновенно возникшему пространству. И всё, что есть теперь во Вселенной, результат того, четырнадцать с половиной миллиардов лет назад произошедшего, взрыва. Даже отзвук, эхо его до сих пор звучит и улавливается приборами. А у меня мелькнуло как-то в памяти японское трёхстишие:

*О, цикада, не плачь,
Нет любви без разлуки
И среди звёзд в небесах.*

И я вдруг о Большом взрыве подумал. Это ведь была великая, величайшая “разлука” всего со всем. И японский поэт (жаль, имени не помню) догадался интуитивно о её возможности. Да и не о возможности, а о неизбежности, и не догадался, а вполне утвердительно сказал. Вот она, связь поэзии с глубиннейшей сутью вещей и явлений!

И ещё я вспомнил вдруг нечто подобное. “Художник нам изобразил глубокий обморок сирени” — из Мандельштама строчка. А физики понятие

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В “Нашем современнике” публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

“обморок материи” в научный обиход ввели. Думаю, что поэт тут не просто с ними совпал случайно, а прозрел истину поэтическим прозрением...

* * *

Сижку на тумбочке, переобуваясь перед прогулкой. Наш Луи рядом, настороже, ловит момент, чтобы успеть ткнуться мордой мне в колени, чтобы я его погладил, по заливку потрепал, бормоча что-нибудь одобрительное. А если этого всего не получалось при моей, скажем, спешке или забывчивости, то сидит потом обиженный и понурый. Да что шнауцер Луи, если сам Лев Толстой в старости записал в дневнике, что иногда ему хочется, чтоб его по голове погладили, как в детстве... А психологи утверждают, что женщины для спокойствия и душевного равновесия нужно, чтобы её потрогали, хотя бы чуть-чуть, мельком, шесть-семь раз за день. И мужички не так уж далеко в этом ряду стоят, похоже. Такие вот мы сироты казанские или, как с резкой прямоотой выразился Фолкнер: “Несчастливые сукины дети”. И скрываем это друг от друга изо всех сил...

* * *

Мило... Или не мило. Приятное слово, но не сказать, чтобы сильное. Есть гораздо сильнее слова из того же ряда. А потом подумаешь — нет, слово то из самых сильных. Не раз, к примеру, слышал, как говорили по поводу самоубийства: “Видно, жизнь стала не мила”. Главную, стало быть, причину именно так определяли. Или поговорка известная: “Не по хорошу мил, а по милу хорош”. И тут получается, что “хорошесть” человека — черта крупная, ёмкая — перевешивается этой самой, не такой уж, кажется, и важной, “милотой”. А что она такое, в чём суть её? Трудно ответить, невозможно даже. Тайна...

* * *

Фильм про Бабий Яр, тот самый, что под Киевом. Перед уходом туда людей на смерть портной снимает мерку с дамы средних лет, очень красивой. И музыка грустно-нежная, и снятие мерки воспринимается, как медленный танец любви. Поразительно! Никакая эротическая сцена большего впечатления не произвела бы, пожалуй. Кадр всё время затенён по окружности, и портной с дамой — в центре его, как в центре мира...

* * *

Клён и тополь — главные деревья детства. Весь наш посёлок был в них погружён. На клёны взбираться сравнительно легко, и, взобравшись, ты как в иной мир попадал, “верхний” такой. И словно бы гостил в нём: и посидеть можно было удобно, а то и полежать на толстом и удобном суку. А весной даже угощение доставалось, “кашка”: бледно-зелёные, крупичатые пучки неожиданно пресного, мучнистого вкуса. Голод эта “кашка” хорошо перебивала... Тополя громадны, неохватны, небо подпирали. Пахли после дождя чудесно, а если почку набухшую растереть между пальцами, то запах бил в ноздри с силой нашатыря. Казалось, даже в голове яселло от этого запаха. На некоторых, больших самых тополях обитали из года в год колонии грачей в слипшихся воедино чёрных гнёздах — так, словно огромный кусок нашего курского чернозёма был вознесён в небеса. А как они, грачи, гомонили по утрам и вечерам, будто службу некую при людях несли, будили и провожали ко сну... Клёны были как-то ближе нам, чем тополя, душевней. И доступностью своей, и “кашкой”, и майскими жуками в кронах в мае, и даже похожестью

некоей своих листьев на человеческую ладонь. Примерять даже случалось — вот, как раз впору... Хорошо помню посадку клёна напротив нашего крыльца — прутика тонкого. И ведь уцелел, и рос со мной вместе, став мне, в конце концов, старым, добрым, верным другом.

Были, конечно, и берёзы с зимней белизной стволов, такой странной среди зелени лета, и липы, словно бы позолоченные в пору цветения и чуть уловимо пахнущие мёдом...

* * *

Сосед и старый приятель с нормальным (по возрасту) здоровьем, поехал кое-что прикупить для скорой, серьёзной рыбалки. И умер, что называется, на ходу... А вот если чудом каким-нибудь узнать, что с тобой такое случится, — узнать за день, за два... Как это время проживёшь? Дорогим, бесценным всё вокруг вдруг представится? Возможно. Или, наоборот, бессмысленным и уже чужим? Вполне может быть. А вероятнее всего, будет смесь из первого и второго в разных пропорциях. А ещё вероятнее, хаос будет из отчаяния, смирения и надежды, что всё как-нибудь обойдётся...

* * *

Есть в дневниках позднего Толстого вопрос, довольно-таки странный: зачем на земле такая пропасть людей? (Сейчас, кстати, стало на много-много больше). К кому он, вопрос этот, обращён? К себе ли самому или, скорей всего, к Богу Отцу-Творцу, в которого Толстой, очень по-своему, верил. Подумаешь, подумаешь, да какой-то резон и почувствуешь в этом вопросе. Действительно, зачем эти многие миллиарды, которые ещё и растут неудержимо, всё ожесточённее борясь за возможность жить и даже просто выжить? Не количество же приближает род людской к Царству Божию? Скорее наоборот...

* * *

В повести Томаса Манна “Обмененные головы” двое юношей-индусов тайно наблюдают за омовением в реке юной девушки. Упоминается там линия её бедра, “привязывающая человека к миру явлений”. К жизни, проще говоря. Вот и подумаешь, что, как ни мила, ни притягательна эта линия, но такое значение ей придавать — это уж слишком! А потом вспомнилось по отдалённой какой-то связи окончание самых, пожалуй, всеобъемлющих жизнь человека и человечества в целом, книг: “Божественной комедии” Данте и “Фауста” Гёте. У Данте: “Любовь, что движет солнце и светила”. У Гёте: “Вечная женственность тянет нас к ней”. (К природе, то есть.) Представил ярко “линию бедра, привязывающую человека к миру явлений”, и подумал, что нет, не преувеличено её значение, пожалуй, если с приведёнными строчками линию эту сравнить. Есть в их глубинном смысле и её важное место...

* * *

Многое из самого лучшего в жизни героев Чехова исчезает, едва начавшись, уходит, как вода в песок: и в прозе так, и в пьесах. А в его записной книжке вообще предельная в этом смысле запись есть, набросок рассказа или пьесы. Ждут жениха к свадьбе, но нет его и нет. Потом приходит телеграмма, что он заболел. А через некоторое время ещё одна, что он умер. Вот и кончилась и свадьба, и жизнь брачная, даже и не начавшись... Есть у Шопенгауэра мысль, что жизнь человеческая так тяжка и безрадостна, что самое лучшее вообще на свет не рождаться. Если бы она позднему Чехову попалась,

то, возможно, что он, хоть на мгновение, с ней бы и согласился. Вот написал и тут же подумал — нет, не так, совсем даже не так. Сколько у Чехова радости, жажды жизни, любви к ней, юмора, особенно в письмах. Черпай — не исчерпаешь!

Но если всё-таки ещё поразмыслить не торопясь, то и первый вариант представляется правдой, но и второй тоже. Пара такая неразрывная выходит, как почти всё у людей. Любовь и ненависть, веселье и тоска, надежда и безнадежность, жизнь и смерть...

* * *

После войны в нашем маленьком райцентре Тиме мне приходилось видеть одного лишь милиционера, и я думал долго, что он в посёлке один всего лишь и есть. Даже фамилию помню: Филимонов. Маленький, серолицый, в синей шинели с обтрёпанными лапами. Была и кобура на боку, но не с пистолетом, а с тряпкой, туго затолкнутой внутрь, которая и высовывалась порой чуть-чуть наружу. Вот этот Филимонов и обеспечивал порядок при всех общественных мероприятиях и праздниках. И порядок был. Ну, пьяный мог лежать где-нибудь в сторонке, никто его и не трогал — проспится... Зато немногие мужики были недавние солдаты, да с наградами на груди. Вот в них-то, пожалуй, и была причина тогдашнего порядка...

* * *

Всю жизнь помню март в десятом классе, одинокие прогулки вечерние по посёлку, хруст ледка и подмёрзшего снега под ногами и неожиданное, впервые возникшее чувство, что я всё понимаю или понять могу. Такая была сила напористая в душе и в голове, что, казалось, никаких преград и препятствий для неё не существует. “Прорыв” какой-то небывалый, волшебный прямо-таки, во мне происходил... Спустя лишь годы догадался, что это как-то связано было с первой любовью, переживаемой тогда. А одинокие прогулки и ощущение необычайной силы душевной и умственной (да и физической, конечно) попало как раз на перерыв значительный в свиданиях с подружкой моей Ириной... Возможно, что нечто похожее испытывал Пушкин в Болдине, в “заточении” холерном, ожидая мучительно встречи с невестой и свадьбы. И “силу” свою, всё копившуюся в ожидании, он в работу пускал и сделал за два примерно месяца фантастически много. У меня же работы не было и приходилось просто ходить одиноко часами и “всё понимать”. Есть что-то неловкое, нехорошее в таком вот сравнении себя с гением, но, с другой стороны, все мы, прежде всего, люди-человеки, братья, одного Отца Небесного имеющие... А подружка Ирина час назад куда-то с нашей внучкой Дашей по делам поехала. Ей и текст этот печатать придётся...

* * *

Когда наезжает большая грусть-тоска, то последняя линия обороны и защиты — чтение Аксакова или Шмелёва: те вещи, где просто жизнь, течение её и чудо её. А что “повыше”, то и не годится: нет ни сил, ни желания подниматься на эту “высоту”. Да и нужна ли она вообще — так в этом состоянии думаешь...

* * *

Поворот людей при половом акте “лицом к лицу” психологи считают важнейшим событием в истории отношений полов, гуманизацией их и даже началом половой любви в теперешнем её смысле. Что ж, такое вполне можно

понять и представить, только не обесценилась ли классическая эта позиция как слишком простая и “постная” в хаосе современного сексуального модерна? Да что там позиция! Видел недавно на экране японскую красавицу — робота: очень недурна, и даже мила чем-то. Она и за столом, она и на диване... В конце же просто шок: лицо исчезает, снимается, а на его месте густая путаница проводов...

* * *

Исчезли с нашей окраины среднеазиаты, построив лет за пять большой жилой квартал. И как-то их чуть и жаль, вписались в жизнь — работали на виду, покупали хлеб в огромных количествах сразу, в футбол играли то между собой, то с нашими парнями... И их подчёркнутая вежливость по отношению к пожилым людям была заметна и приятна. А вот чтобы среднеазиат с нашей, местной девичей хотя бы прогуливался — такого видеть не приходилось. Какая-то здесь существует, похоже, непреходимая черта... Кстати, загородный дом нам построили каракалпаки, специально для этого из дали дальней прилетев. Быстренько сделали сарайчик аккуратный и жили в нём. Работали не покладая рук и сделали всё, как надо. Не пили и даже не курили — так, во всяком случае, выглядели. А вот наши, местные строительные бригады всегда с опаской нанимают из-за вполне возможного пьянства. Даже писать такое горько...

* * *

Одиночество... Кто-то страдает от него всю жизнь и избавиться не может, а кто-то всю жизнь к нему стремится и никак не может обрести. Я в детстве, лет в 10 от его, одиночества, мучительного влияния прививку получил и потом, если и доставало оно меня, то недолго, хотя и остро.

Заболел тогда scarлатиной и провёл 42 дня в инфекционном бараке (так тогда говорили — барак) районной больницы. Здоровым уже, в сущности, просто карантин был такой громадный. В палате коек на 10 лежал всё время один, и выдерживать такое было так тяжело, что впору и сбежать. Выручили меня книги. Особенно одна, которая не просто запомнилась, но и осталась главной книгой детства: “Два капитана” Вениамина Каверина. Я и сейчас её помню до мелких деталей. Перечитывать потом опасался, чтобы не испортить впечатления... Поразительно, что судьба потом дважды свела меня с автором книги. В первый раз на странице газеты “Труд”, где были напечатаны имена победителей конкурса на лучший рассказ, а второй в писательском доме в посёлке Комарово под Ленинградом. И смотрел я тогда на маленького, сухонького, краснолицего старичка взглядом из детства — как на чудо! И не верил в глубине души, что именно он, вот он, ту, великую для меня, книгу написал... Подумывал подойти, познакомиться, историю эту немудрёную рассказать, но так и не решился. Сложное какое-то чувство удерживало — и почтение огромное, давнее, с которым я долгие годы жил, и, опять же, разочарования страх. Напрасно не подошёл — ведь ему-то, Каверину, наверняка приятно бы было...

* * *

Потянуло, словно на прощанье, прочитать кое-что из вещей собственных, давних уже, биографических — детство, с первых воспоминаний начиная, отрочество, юность... Поразительное впечатление! Перерождаешься, тем самым, немисливо давним становясь. Какое-то преодоление времени получается, пусть и недолгое, при чтении лишь. А ещё и энергия, когда-то тобой в текст вложенная, вливается в тебя, молодит, бодрит, пацаном босоногим, неуёмным делает. Чудо, в сущности...

* * *

В конце 80-х годов, когда социально-политическая жизнь была бурной, как море в шторм, посещали мы с сыном нечто вроде кружка философского, где обсуждались по свободному выбору всякие-разные метафизические вопросы. Солировал Всеволод Катагошин, истинный философ по натуре, ну, и остальные вносили свою лепту посильную. Без алкоголя обходились, только крепкий чай. Однажды собрались, разговор наш метафизический ещё не начался, и телевизор был включён: обсуждался референдум о судьбе СССР. Кто-то телевизор и выключил — мы, де, серьёзные вещи обсуждать намерены, и нам не до этих “пустяков”. Меня это возмутило, и не помню, к сожалению, то ли включили телевизор вновь, то ли нет... А вот теперь я и думаю, почему именно в ту пору мы к этой самой метафизике так потянулись? Кто-то, может, хотел из жуткой, страшной неразберихи социально-политической уйти хоть ненадолго, а кто-то, возможно, надеялся приподняться над ней и с высоты метафизической суметь разглядеть хоть что-то и понять. Вот только проку от этого понимания, если оно у кого-то и проблёскивало, не было бы совершенно. С какой-то геологической неотвратимостью всё шло и, скорей всего, было уже предreshено свыше...

* * *

Очень важно бывает вовремя умереть. Не раз думалось: вот этот как раз в пору ушёл, а вот этот запоздал немного... Для Бунина, к примеру, неплохо было бы вскоре после возвращения из Грасса в Париж и Победы нашей уйти. Отпраздновать её хорошенько, да и отбыть в мир иной. Потому что уж очень тяжела оказалась жизнь мирная. Намного тяжелее, пожалуй, чем в Грассе в войну. Тогда хоть интерес жгучий был — к ходу войны, в ожидании конца её...

А в Париже та же нищета и проголодь, тот же Зуров ненавидимый рядом, в тесноте квартирки, а природы, которая так утешала его и поддерживала в Грассе, нет как нет. Главное же, хвори обострились, как отдача после многолетнего напряжения. И дневник он после Грасса на целых восемь лет, до ухода самого, оставил — очень плохой в его ситуации признак... Можно и ещё добавить в том же духе, но ясно вдруг представилось: если бы сказал ему кто-нибудь вот такое подобное, пухнул бы Бунин в него матерком с яростью. Уж очень жизнь любил, любую, возможно...

Да, кстати, видел в орловском музее комнату, сделанную под его парижскую. Даже окно на глухой стене нарисовано с тем самым видом, который за настоящим, парижским окном был. Вся мебель комнаты бунинская, из Парижа привезённая и нищенская до боли...

* * *

В детстве, лет до семи, ясно так помню, однообразие дней доставляло явное удовольствие — сегодня, как вчера, завтра, как сегодня... А нового вроде бы и не надо было, жизнь привычная-обычная наполняла душу вполне, до краёв. И был во всём этом некий привкус вечности приятный, даже от книжек, одних и тех же, он исходил. Вот и теперь, в старости, нечто похожее начинаю испытывать. Смыкается и в этом конец с началом, как оно и быть должно...

* * *

Видел по ТВ последний, скорей всего, приезд Василия Белова в родную Тимонию. Многие из писательской братии побывали у него тут в гостях. Чудесная есть фотография, на которой сидят они с Шукшиным рядом на

лавочке с поленницей высокой за спиной — типичные жители местные по виду. Один, скажем, шофёр, а другой — плотник... А в этот раз стоял Василий Иванович у своего дома, ухоженного, как никогда, наверное, и готового, похоже, стать музеем. В движениях, в речи явно проступали остатки недавнего инсульта. Рядом с ним женщина и двое ребятишек деревенских. Садясь в машину, сказал он им на прощанье: “Учитесь на поэтов”, — и уехал... Показали только дом Белова, дуг, речку, лес вдалеке, а сама Тимониха даже не мелькнула. И нечего, и неловко, возможно, было показывать... Похоронили Василия Ивановича по его желанию на деревенском кладбище рядом с матерью. А мне представляется навязчиво зима, заброшенная деревня, кладбище и две могилы, полузанесённые снегом. И тоска от этого тяжкая и, прожилкой тонкой, удовлетворение — вернулся домой всё-таки, в родную землю лёг...

* * *

*Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови,
Всё, крутясь, исчезает во мгле,
Вечно светит лишь солнце любви.*

Это Владимир Соловьёв, философ и поэт.

*Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха,
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.*

А это Николай Заболоцкий, просто поэт. Уж какие разные были люди, уж какие разные были у них судьбы, а вот сошлись же так удивительно близко в этих прекрасных и важных для каждого стихах!

* * *

У всех, наверное, есть любимые вещи, которые сопровождают человека долгие годы, а то и всю жизнь. У Вяземского, ближайшего друга Пушкина, это был халат, которому он даже оду написал полушуточную; у одного моего друга — кусок виноградной лозы интереснейшей формы; у меня — вышитое и заключённое в солидную раму изображение богини растительного царства Флоры...

Любимые вещи, любимое животное... Любимое — не шутка! Вот верил же философ Бердяев, что встретится в мире ином со своим котом любимым. Так почему бы и всему, что мы истинно в жизни любим, там не оказаться?!

* * *

Кусочки из раннего детства. Матушка что-то делает за столом и напевает тихонько: “До свиданья милый скажет, а на сердце камень ляжет”. Только эта строчка и помнится, и вспоминается всю жизнь. Случайность? А может, душа уже тогда способна была угадать, как хороша эта строчка и как много за ней стоит? Или в другой обстановке, в несколько голосов спетое: “Имел бы я золотые горы и реки, полные вина...” Удивление и восхищение своё помню перед такими горами и такими реками. Хотя что я мог тогда знать о золоте и вине? То ли догадывался чудом каким-то, то ли гениальная память подсказала...

* * *

Был семейный костерок в саду, и правнучка моя Анюта влезла на здорового коня плюшевого, рыжей масти, и долго на нём, подпрыгивая в седле, ехала-скакала... Вот и сбылась моя жгучая, детская, первого послевоенного года мечта, в жизни правнучки сбылась через 70 лет! Анюта едет-скачет, но ведь и я в ней какой-то своей малой-малой частью тоже еду-скачу. Смотрел, ехал-скакал и чувствовал, что чего-то всё-таки не хватает. А, сабли в руке, взмаха её лихого! Жаль, не девчоночье это дело, надо правнучка дожидаться и саблю ему подарить для полноты картины...

* * *

Потерявшийся, заблудившийся мальчик и он же — теперешний я, то есть на пару минут потерявший ориентировку в городе, знакомом насквозь. Состояния похожие чем-то. Тогда — ужас, а теперь — страшок небольшой, едва мелькнувший. И мысль — а сколько же стариков теряется всерьёз и надолго. А то и навсегда... Но ведь и народы целые “теряются” за какое-то, пусть и большое весьма время. И цивилизации целые. А для атеиста и всё человечество “затеряно” в бесконечной Вселенной. И “найти” ему невозможно, а можно, да и неизбежно лишь исчезнуть в конце...

* * *

В один из моих приездов в Коктебель стал появляться на вечернем пляже крепенький мужичок в белых брюках, белой рубашке и с трубой в руках. Подходил то к парочкам, то к компаниям целым и спрашивал, что им сыграть? Иногда не получал заказа, но чаще играл. Недолго, две-три всего минуты, но совершенно чудесно! Звук трубы вообще особенный, с таинственной какой-то, трудно определяемой добавкой. То голос человеческий в нём мелькнёт, отдалённый, зовущий; то мускульное усилие трубача, от ног до губ, к трубе прижатых, отразится; а то вдруг ты сам, слушатель, на самой высокой, вот-вот готовой оборваться ноте тоже напряжёшься и душой, и телом, словно трубишь вместе с трубачом... А солнце только что за горы ушло, море без морщинки единой и лишь по самому краю воды чуть подрагивает — от звука трубы как будто... Однажды трубач заиграл французскую песню “Осенние листья”, из любимых моих. Ив Монтан её пел чудесно. А тут и женщина подошла к соседнему свободному лежаку, халатик сбросила, волосы роскошные, пепельно-дымчатые под купальную шапочку убрала, посмотрела глазами зелёными и к морю пошла, резко выделяясь на его бирюзовом фоне. И линия бедра была у неё та самая, что привязывает нас к жизни. Так и идёт, и идёт в памяти до сих пор...

* * *

Был в нашей округе пивной ларёк, очень приятный. Даже столики за ним стояли, два-три, без стульев, а дальше пустырь. Вот и толклись мужики с пивными кружками в славном этом местечке, и часто женщина средних лет, полуинтеллигентного, полубомжовского вида подходила, стояла, ожидая, не даст ли кто кружку допить. Иногда и просила — очень робко. Давали, конечно, но хмуро, отворачиваясь и как бы стыдясь. И однажды один из мужиков не выдержал и крикнул: “Да я лучше пиво это вылью, чем тебе дам!” Возмутился такой степенью падения человеческого, очень даже понятно. А я вдруг вспомнил фразу из “Света в августе” Фолкнера: “И только позор хуже небытия”. Так это глубоко, что и дна не видно, лишь душа чувствует некий смысл. Но ведь запомнилось!

* * *

Не поэт оставляет стихи, а стихи оставляют поэта, так, похоже. То на время, а то и навсегда. Блок вскоре после окончания поэмы “Двенадцать” написал в дневнике: “Звуков больше нет”. И стихов, соответственно, тоже. У Мандельштама был огромный, лет в пять, перерыв в писании стихов без всякой видимой причины — не писалось, и всё тут. А пора, судя по возрасту, была самая рабочая. Тяжело всё это, конечно, переживать-терпеть, и даже чем-то оскорбительно. То “включают” тебя, то “выключают”, не спрашиваясь. Но и что-то ещё, именно противоположное, присутствует — догадка о высоте “инстанции”, которая влияет на работу. Ведь не только же в здоровье, обстоятельствах жизни, настроениях дело. Иное, высшее, божественное, быть может, тут есть... Кстати, прозаики тоже подвержены чему-то подобному, но в меньшей, смазанной степени.

* * *

Есть у нас рядом акведук с ручьём и водопадиком — чудесное местечко. Однажды вижу, человек с толстой книгой сидит у самого, впритык, водопада, в чтение погружённый. Что-то во всём этом было восточное, китайское даже, часто на картинах и гравюрах попадалось: “поток” с напряжённым водопадом, заросли густые и человек среди них. Довольно долго я на гостя-читателя смотрел и решил, что он не просто книгу, а учебник именно читает, а “поток” и водопад помогают ему читаемое постигать. Русский язык, быть может. По мне он лишь скользнул взглядом — и в книгу. И это тоже было как-то по-китайски. Да, и лицо у него было вполне китайское, насколько я судить могу... Во время прогулки он несколько раз вспоминался мне, словно было в его появлении что-то существенное. Но ведь и было — такое любимое, душе близкое, интимное даже, место и вдруг — китаец. Надо же!

* * *

Недавно узнал, что первые в стране “комплексы” по производству туалетной бумаги были закуплены у Финляндии в 1969 году, через семь (!) лет после полёта Гагарина. Расхотаться было впору, а потом и призадуматься. Вот одна из не последних причин быстрого и почти без борьбы падения Советской власти. Для народа “вообще”, в целом, она делала очень много, а отдельного человека, с его жизнью конкретно-бытовой, не видела порой в упор. Какая ещё там туалетная бумага? Не до неё! Обойдётся, авось, не बारे...

* * *

Купил впервые обувь, часто у соседней виденную, — нечто вроде галош глубоких, по щиколотку, и даже с опушкой мехом искусственным и им же внутри. Удобно очень: в сад-огород по росе выйти, да и просто в мокрую погоду вблизи дома погулять с собакой. А стоят такие чоботы всего 250 рублей, и их, в сущности, можно при нужде круглый год носить, если ноги утеплять получше, портянками, скажем, уже полузабытыми... Походил в этих чоботах, удобных вполне, и вдруг подумал — это ж вечная всей бедной России задача решена! Великое, прямо сказать, событие! Прекрасно помню послевоенные, когда не редкостью было в наших курских краях детям в школу не ходить — не в чем было. Так именно и говорили — “не в чем”. И касалось это, прежде всего, обуви, самого слабого места у бедняков... Да, ведь и часы электронные теперь те же самые 250 рублей стоят или около того. Прекрасно работают, сам такие в кармане много лет ношу. А когда-то,

не так чтобы очень давно, какая была ценность! Приедет домой в отпуск кто-нибудь с “производства”, и, если на руке часы, то это особо отмечали, говоря: “При часах приехал!” И снимали их порой у людей в тёмных, глухих местах... Что ж, обеспечила себя, слава Богу, Россия всем доступной обувью и часами. Большое дело сделала! До всем доступного жилья ещё бы добраться вот так же, но уж это очень далеко за моим “горизонтом наблюдений” останется, конечно. Удачи только пожелать могу...

* * *

Встретил сегодня девочку лет семи, пускающую на ходу мыльные пузыри. Какая-то штучка небольшая, вида магазинного, у неё в руках, из неё пузыри и вылетают. Нажмёт на ней, “штучке”, на что-то, и пузыри из неё летят стремительной чередой, как из автомата. Девочка на них даже и не смотрит толком, идёт себе, а за ней целый пузырьный шлейф тянется. И видел я всё это с какой-то странной смесью неприязни и грусти... Для нас в детстве пускание пузырей было делом сладким и очень даже не простым. Сначала соломинку надо было найти правильную, потолще и попрочней, потом расщепить её аккуратно с одного конца на четыре выступа по сантиметру примерно каждый. Что-то вроде соломенного цветка, в конце концов, получалось. Потом мыло надо было развести в какой-нибудь черепушке, не жидко и не слишком густо. Потом выбирали мы во дворе местечко подходящее, чтобы и ветерок слабенький был, и пространство для полёта пузырей. А потом было самое сложное и тонкое, чутья особого требующее: махнуть “цветок” соломенный в мыльный раствор и дуть на него тихо и осторожно. И капелька мыльная, посреди “цветка” соломинки висящая, вдруг превращалась в маленький пузырёк, мутный ещё, с жидким дном. Теперь надо было не сорваться, а дуть так, словно не только воздух из губ выпускаешь понемногу, но и часть души своей. Выпускаешь и кормишь, растишь этим пузырёк, а вот уже и пузырь растёт и расцветает, становясь сверкающим, радужным чудом... И сердце у тебя стучит тревожно. Что будет — то ли лопнет с арбуз уже выросший пузырь, то ли от соломинки оторвётся и полетит-полетит, как чудо и мечта! Первый пузырь почти всегда лопается у тебя под самым носом, а вот второй отрывается от соломинки неохотно и летит-летит, такой огромный, прекрасный, и скрывается вдруг за углом... А ту девочку с пузырьным “автоматом” становится мне неожиданно жаль — не испытать, не пережить ей такого...

* * *

Посмотрел, как забивают сваи под фундамент многоэтажного дома. Забить надо каждую до упора в камень, в слой известняка. Вот достигла его свая и стоит непоколебимо, вниз под ударами больше не уходя. Так и будет стоять, дом на себе держать потом... И вспомнилась вдруг Ахматова: “Мы ложимся в неё и становимся ею, // оттого и зовём так свободно — своею”. О родной земле, разумеется, речь. Какая у неё, Ахматовой, жизнь была тяжёлая, сложная, бесприютная, но всё-таки достигла же она, добралась до своего слоя, упора надёжного, на котором и стояла твёрдо до конца... А вот у Цветаевой отношение к земле было совсем иное, противоположное. Писала, что стоит на ней на цыпочках, готовая оторваться вот-вот. И оторвалась... Может, немного не дотерпела, не дотянулась до опоры, до того слоя прочного? А попытки были:

*Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё равно, и всё едино,
Но если по дороге куст
Встаёт, особенно — рябина...*

* * *

На вопрос, какой мой любимый цвет, я ответил как-то слишком уж мудро: цвет небесной голубизны, озарённой солнцем. А потому, что нечто Божественное в ней, голубизне такой, есть. Чудится даже, что там, в ней и за ней, Царство Божие, может быть... А потом, вскоре, стихотворение Тициана Табидзе прочитал, где о том же самом и говорится: “Цвет небесный, синий цвет, // Полюбил я с малых лет. // В детстве он мне означал // Синеву иных начал...” Разницей же между голубизной и синевой небесной можно и пренебречь, главное, суть та самая. И ещё подтверждение этой сути: мадонн с младенцами старые мастера часто на фоне этой самой голубизны-синевы небесной изображали. Уж никак не случайно!

* * *

Наш участок под картошку в овраге, где мы её растили в 90-е лихие годы целых шесть лет, занял очень приятный мужичок. Лет 50-ти, спокойный, общительный, интеллигентный по виду и разговору. И в этот же год случилась весной маленькая катастрофа — высокий глинистый берег ручья, омывающего участок, рухнул вниз огромным куском и перегородил ручей, даже ход его изменив. Я часто гулял в тех местах и имел случай понаблюдать, как новый хозяин участка исправлял последствия обвала, спасая участок от размыва и уничтожения. Собственно за работой видеть его не пришлось, а на результаты её я насмотрелся вдоволь. Что-то невероятное, когда с трудом веришь глазам своим. Обломки крупные блоков, брусков железобетонных, железяки здоровенные, брёвна... И все привезено на ручной тележке по сложной тропе примерно за километр и уложено, вкопано хитроумно и надёжно, в берега ручья для их укрепления. Египетская какая-то работа, даже пирамиды мне померещились... И, наконец, встретил великого этого строителя и спросил, как он смог сделать такое? А он ответил просто, что всю жизнь любит тяжёлую работу и даже ищет её. Помолчал и продолжил уже другим, доверительным тоном (знал, что я по первой профессии психиатр), что его сильно оскорбили, унизили в детстве и это мучает его до сих пор (!). Только вот в такой тяжёлой работе он и находит облегчение. Выслушал я всё это и почувствовал, что заглянул вдруг в ту часть чужой человеческой души, где, по пословице, “потёмки”. Даже чуть зазнобило от представления их таинственной глубины. А в жизни у него, в общем, всё нормально — и с работой, и с семьёй. Не исключая даже, что он о той травме душевной, детской, никому и не говорил — и вдруг вырвалось. В чём травма конкретно состояла, он не сказал, а я не стал спрашивать — не врачебный же приём был, а разговор приятельский...

* * *

У философа Хайдеггера неизбежность и необходимость смерти объясняется заботой, суетностью всегдашней, погружённостью в неё человека, “дурной бесконечностью” этого, которую надо же когда-то и прекратить, перейдя из времени в вечность через смерть. Прочитав такое, тут же вспомнил отрывок из “Четвёртой прозы” Мандельштама: “Пожил ты, человек, походил в баню и парикмахерскую, поездил к другу Серёжке в Гатчину, попил пива в ларьке на углу — и будет”. Удивительно, как сошлись близко крупный философ и великий поэт, да ещё в таком важнейшем вопросе, как смерть и смысл её...

* * *

Стоят после долгого ненастья дни-подарки, как говорится. Порой думаешь в таких случаях: вот бы и всегда так! Но нет, не надо. Будь так, то не только ценить, но и замечать их прелесть перестанешь, что ж тут хорошего...

А ещё говорят: женщина-подарок. Серьёзная такая, похвальная оценка, ёмкая в своей глубине. Или ещё: женщина-праздник. Вельма заманчиво, но лишь на первый взгляд. Подумаешь и засомневаешься: так ли уж это хорошо? И легкомыслие глуповатое начинает представляться, и утомление от особы такой рядом. Впрочем, это уж во мне возраст, старчество моё заговорило. Пусть будет таких побольше. Не для меня, так для других. Женщина-праздник! Сказать-написать — и то приятно...

* * *

Есть короткие отрывки прозы, которые я помню и проговариваю про себя совершенно наравне со стихами. Да это стихи и есть, только прикрытые, “замаскированные” под прозу. Особенно часто это встречается у Чехова и Бунина. И даже у такого по стилю нескладного, многословного, тяжёлого Толстого. Вот, например, как помню, из “Войны и мира” кусочек, из внутреннего монолога князя Андрея: “Все лучшие минуты его жизни вдруг вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом; и мёртвое, укоризненное лицо жены; и Пьер на пароме; и девочка в Отрадном в лунную ночь; и эта луна, и эта ночь — все это вдруг вспомнилось ему”. Ну, чем не стихи? Особенно поражает, что в лучшие минуты жизни он включил “мертвое, укоризненное лицо жены”. Почему? Возможно, по той глубине чувств, которые оно, лицо, в нём вызвало...

* * *

“Кто смотрит на облака, тому не сеять”. Из Библии фраза, и какая поэтическая, и какая глубокая!

Хорошо, что они есть у нас, облака. Разной высоты и формы, то неподвижные, то летящие стремительно под ветром, то растущие, то тающие едва уловимо. И ждём, и угадываем мы в них разное — то ненастье, то славную погоду. А влюблённый может и профиль подруги своей в одном из них вдруг разглядеть. И в литературе много облаков, особенно у Бунина, Тургенева и Толстого. Есть и знаменитые, “литературные” облака. Те, которые, видит тяжело раненный, князь Андрей над собой, лёжа на поле Аустерлица. И те, которые наблюдает внимательно Левин на копне сена ранним утром, перед тем, как увидеть любимую свою Кити. А ещё и облачко из “Капитанской дочки”, предвещающее страшный буран и встречу Гринёва с Пугачёвым... А тучи, в которые превращаются иногда облака, не менее для нас интересные, разнообразные и значимые! А сплошной, однообразный, то тёмно-серый, то светлый покров, который и день, и два нависает над нами, как крыша. А лучше всего для наших краёв, когда нет ни облаков, ни туч, ни “покровов”, а есть лишь нагое, синее или голубое, божественное небо...

* * *

В Чеховской “Чайке” Заречная говорит Треплеву с тоской, что завтра ей рано утром ехать в Елец, играть перед купцами... Удивительно, что в последний, недавний чеховский юбилей группа французских театралов отправилась в Елец, чтобы посмотреть, что это за город такой, в который так уж не хотелось ехать Нине Заречной и играть там. Представляли, конечно, что-нибудь крайне непривлекательное, дикость провинциальную. А в Елецкой гимназии, между прочим, учились во время, близкое времени действия в пьесе, Бунин, Пришвин, философ отец Сергей Булгаков, и Василий Васильевич Розанов преподавал. Найдётся ли во Франции городок, близкий по величине нашему тогдашнему Ельцу, который бы смог выставить в ту пору от себя такую могучую команду? Очень сомневаюсь...

* * *

“Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели...” Жутковатая строка поэта-фронтовика Семёна Гудзенко. Даже некую заповедь напоминает. Только не от Бога, а от инстанции иной. Особенно если вспомнить, что в народном понимании жалость и любовь, в сущности, одно и то же. Вот и получится тогда: “Нас не надо любить, ведь и мы никого не любили...” А поэт Семён Гудзенко по-настоящему талантлив, что даже по приведённой строке видно. Талантливо и опасно, поскользнуться можно и упасть...

* * *

Перечитал “Тихий Дон” в последний, конечно, раз. Великая книга, а финал по трагической мощи самый сильный из всего, за жизнь прочитанного. И такое опустошение душевное потом, словно собственная жизнь вместе с жизнью Григория вот-вот кончится... Сравним с финалом “Тихого Дона” для меня лишь финал “Чевенгура” Платонова и “Ста лет одиночества” Маркеса.

* * *

Самая “русская” картина, на мой взгляд, “Грачи прилетели” Саврасова. Ещё и фамилия у автора из русских русская, надо же так совпасть! А от картины тянет чем-то знобким, щемящим, как и от всей нашей жизни вообще...

* * *

В СМИ сообщают, что в последнее время быть в депрессии стало модным. Речь, конечно, идёт не о клинической депрессии, а о бытовой грусть-тоске. Скорей всего, тут не в моде дело, а в том, что люди устали быть бодрячками напоказ и стали позволять себе эту самую грусть-тоску. Огромную, между прочим, и совершенно естественно — необходимую часть душевной жизни человека. Если её убрать, то мы и людьми, в теперешнем понимании, перестанем быть, в весёленьких роботов превратимся. Да и вообще, жизнь современного неверующего человека, если увидеть её без иллюзий и самообманов, так неизбежно, непоправимо трагична, что тут даже не до грусть-тоски, тут ужас будет сплошной. Тут, подобно герою позднего стихотворения Пушкина “Странник”, впору бежать в страхе, куда глаза глядят, ища помощи и спасения...

* * *

Фигусы послевоенья, во всех почти столовых они были, фирменный знак прямо-таки. И у нас дома был: огромный, растущий в бочонке деревянном. А ещё туя, не меньше фикуса. Разница их удивляла, словно на разных полюсах находились. У фикуса листья, как лепёшки зелёные, толстенькие, тяжёленькие, а тут кружево какое-то тончайшее. И рос я под сенью комнатных этих деревьев, как в маленьком волшебном лесу. А когда квартиру получил с семьёй в военном городке на Урале, то сразу стал таскать в неё с утренних пробежек по лесу то ветку какую-нибудь красивую, то букет-букетик цветов. От привычки жить с детства с растениями рядом. Так оно и осталось на всю жизнь, крепкой оказалась ранняя эта закваска.

А потом у соседки с первого этажа полвека почти лимоны за окном желтели постоянно. Любовь! Возможно вполне, что она и разговаривала с ними тихонько...

* * *

Закон всемирного тяготения — один из важнейших в природе. Самый важный, может быть. А вот как, посредством чего притягиваются все тела Вселенной друг к другу, открыть никак не могли. И вот свершилось! Астрофизики нашли зону, где две “чёрные дыры” начинают сливаться, и тут-то и обнаружили некие особые, ранее не известные волны, через которые закон этот и проявляет себя, тяготение всего ко всему создаёт. Поразительно, что нечто близкое человеку, интимно близкое, в этом законе есть, в притяжении полов друг к другу, прежде всего. Что и приятно, и жутковато, если вдуматься. Любовь людей и тяготение, “любовь” звёзд друг к другу... И слияние, бывающее и у людей, и у звёзд...

* * *

Конец октября, а снег сыплет крупный, сухой, густой, совершенно зимний. На остатки листьев жёлтых на деревьях в саду и зелёных ещё вполне, на кусты сирени в палисаднике. Глянул в очередной раз в окно — и сойка в тот же миг явилась, закачалась на ближней, руку протянуть, ветке, с зеркальцем своим изумрудным, блестящим на боку даже в такой снегопад. Красавица! Посидела бы подольше, только б кричать-петь не начала, не заскрипела бы, как тележное намазаное колесо...

* * *

Боль о безвременной смерти (гибели) Пушкина жива до сих пор и останется, пока будет Россия. И она не только о том, что он мог бы ещё сделать, но и о том, как бы он жизнь достаточно долгую прожил, лет до 70-ти, скажем. Как бы жил в быту, семье и обществе, как бы менялся с возрастом, какие бы оценки событиям важным социально-политическим делал? Оценщик он был несравненный, точный и глубокий, далеко превосходя в этом профессионалов-политиков, дипломатов, экономистов... Одна его оценка тогдашних Соединённых Штатов Америки в статье “Джон Теннер” чего стоит, не устарев до сих пор! Кажется порой, что и отдельным людям, и даже целым поколениям жить было бы легче, путь правильный выбрать проще, если бы жизнь Пушкина оказалась долгой и известной современникам и потомкам во всей возможной полноте. Освещения бы прибавилось, и свет был бы верней направлен...

* * *

Сегодня исполнилось 55 лет нашей с Ириной общей жизни. “Расписались” мы в Харькове, где училась Ирина, а я из Воронежа приехал и друга с детсадовских ещё лет привёз с собой в свидетели. Вторым свидетелем тоже друг был ближайший, учившийся в Харькове. Мороз помню редкостный, темно-красные стены загса, потом застолье малолюдное и недолгое. Помню, что как-то тяжело было на сердце, хотя женились мы по обоюдной и долгой уже любви. Невозможно было тогда ни представить, ни предположить даже, что совместная жизнь и любовь наша продлится на такой чудовищно большой срок! И даже сотрудничество тесное — вот пишу сейчас, а на столе рядом ноутбук и рукопись, которую жена как раз перепечатывает... Ирина была по-новому как-то красивой в тот сказочно далёкий день, в чудесном вишнёвом платье, а я в чёрном нескладном костюме и чёрной рубашке. *Чёрный человек* такой... Назавтра в ночь, при сильнейшем морозе, уехали мы на автобусе в Курск. А оттуда домой, в наш родной, общий Тим. Вспоминается обо всём этом так много, что в растерянность впадаешь — что выбрать? А лучше всего написанным и ограничиться, остальное же оставить при себе.

Да и вообще, дела интимно-близкие трудно, а порой и невозможно записывать. Не потому, что неловко, совсем нет, а потому, что записанное и, тем более, опубликованное словно бы оставляет тебя, уходит куда-то. Эдак, глядишь, можно и голым на холоде себя, в конце концов, почувствовать...

* * *

Всё чаще в последнее время говорят о профессиональном “выгорании”. Это когда человек начинает делать своё дело формально, стереотипно, без эмоционального, душевного участия. Касается это довольно многих, и наступает в разные, у каждого свои сроки. Лет через 7–10 после начала работы, в среднем. Это неприятно и тяжело и для самого работающего, и делу вредит. Стоит представить себе равнодушно работающего врача или учителя, и всё станет ясно... А недавно даже Патриарх Кирилл об этом самом “выгорании” заговорил — у священнослужителей оно тоже проявляется. Сразу отметил неточность некоторую термина “выгорание” в этом случае. Сказал, что тут, скорее, надо иметь в виду усталость, уныние, ослабление веры вплоть до потери её. И меры принимать — от помощи духовника до вещей вполне житейских: отдыха, улучшения быта и т. д. Вот тут-то я впервые вполне и почувствовал, что священники всего лишь люди и что сан не защищает их от слабостей и грехов человеческих. И сложность, и тяжесть их служения сочувственно представил тоже. Бремя, которое надо нести всю жизнь. А “выгорание”, что ж... Все выгорает, даже звёзды... И бороться с ним необходимо, пусть и без надежды вполне его победить...

* * *

Год назад погибла в сбитом террористами самолёте доктор Лиза. И передача по ТВ была: “Год без доктора Лизы”. Хороший заголовок, правильный: то мы все жили с доктором Лизой, а теперь вот живём без неё...

Начало её пути славного, истинно христианского, хорошо помню — первый автобус, в котором кормили на московских привокзальных площадях бомжей и отвозили желающих в “ночлежку”. Ясно так тогда представилось, что вот дело из самых, может быть, нужных и важных, которые были тогда в нашей, великой и огромной стране... А по ходу телепередачи, где доктор Лиза была показана много и разнообразно, подумалось, что дар сострадания и стремление помочь ближнему от рождения, от Бога даётся, точно так же, как всякий иной дар, талант. И является самым главным...

В жизни, работе и даже смерти доктора Лизы есть что-то от промысла Божьего. Сражалась она за добро на житейском поле брани, пока не погибла “за други своя...”

* * *

“Есть время обнимать и время уклоняться от объятий”. Екклесиаст. Различать надо — какие объятия? Одни — от тела, другие — от духа. Первые иссякают с годами до исчезновения, а вторые лишь крепнут, удерживаясь до конца. И от них не уклониться, если бы и захотел...

* * *

Мураками сказал в интервью, что хочет и ищет пустоты в душе, даже создать её как-то пытается. Думает, что пустота поможет и продвинет его в работе. Очевидным представляется обратное: полнота души — творчества источник. Так бы я и посчитал его, Мураками, чудачком, мягко говоря, если б не узнал недавно, что современная физика считает пустоту не существующей

в природе. Просто мы не можем пока нащупать содержание этой “пустоты”. А Мураками, выходит, интуитивно на это вышел. И ещё пример близкий. Средневековый богослов Николай Кузанский, создатель теории “умудрённого незнания”, считал, что истинное знание достигается именно через незнание. Такой парадокс: зная, мы не знаем, а вот не зная, знаем как раз. Заумь всё это, так может показаться, но останавливает много раз пережитое: бесплодная попытка понять что-то, для тебя очень сложное. И вдруг это понимание приходит, когда ты уже и попытку свою давно оставил. С таким притом ощущением, что ты это понимание вспомнил просто-напросто. Знал когда-то давно, забыл, а теперь вот и вспомнил...

* * *

Возраст, благоприятный для поэзии, — не только молодость, но иногда и старость. И бытовуха, и всякая иная работа отходят понемногу, а пора ухода из этого мира приближается. Время прощанья всяческого настает. Вот оно-то и оживляет, и подпитывает поэтическую жилу в душе. Не у всех поэтов, разумеется, но у некоторых совершенно явно. Твардовский яркий тому пример. И это проявилось у него рано, задолго до старости календарной, лет с 50-ти, примерно. Последняя его прижизненная книга “Из лирики этих лет” — очевидный тому пример. Правильный ход жизни, сопровождаемый стихами: сначала знакомство с миром, а потом прощание с ним...

* * *

Когда работа не идёт, и, помучившись, бросаешь её на какое-то время, а порой кажется, что навсегда, то на душе, конечно, тяжело, скверно. Но ведь и окружающий мир при этом тоже представляется изменившимся — мельчает как-то, отдаляется, пустеет, холоднеет...

У большинства пишущих, наверное, так, только выражено по-разному, в меру натуры и дарования. Гигант Лев Толстой записал в дневнике, что, когда он перестает писать, то ему кажется, что всё в мире остановилось. Вот тут уж хочешь — не хочешь, а пиши. Надо же ход миру вернуть!..

* * *

Куривший рядом, молодой сравнительно парень вдруг спросил о смысле жизни. С маху спросил и как бы со злинкой. Ответил ему, что надо любить кого-то или хотя бы что-то. Иначе всё не имеет смысла. Парень помолчал угрюмо, буркнул “спасибо” и ушёл. Не впервые такое-подобное, седая борода моя провоцирует на вопрос, что ли? Или всё больше становится людей молодых и бездорожных? Тыкаются во все стороны, как волки зафлаженные, только вместо флажков везде обозначено: деньги, деньги, деньги... Вполне можно очуметь до обращения к помощи случайных людей. А кто тут способен помочь? Церковь, разве...

* * *

Не вполне понимаю большую тревогу многих людей перед возможным “затягиванием поясов”. Самому пришлось на долгом веку не раз переживать такое, и ничего этакого уж страшного в этом я не находил. Ну, еда похуже, ну, с одежкой потрудней, ну, отказываешься вообще от чего-то... Ну, так и что же? Получается нечто вроде поста такого расширенного и очень долгого. Кое-что, да и нередко, бывало даже на пользу. А когда проходила такая “тугая” полоса, то вспоминалось чаще всего с интересом и даже удовольствием. Больше того! Думаю и даже почти уверен, что, если бы вдруг, внезапно

и одинаково для всех-всех жизненный уровень упал бы существенно или существенно вырос, то это было бы не очень-то для людей и важно. И малозаметно, кстати. А через какое-то небольшое время перемену такую забыли бы просто-напросто. Что-то во всём этом очень русское есть. От привычки и тренировки, что ли?

* * *

У друга Циолковского умер сын. Тогда он и сказал ему, желая помочь, утешить в горе: “Приходите вечером, будем смотреть на звёзды”. Вот это утешение космосом! К тому же он верил в “живой атом”. В то, что, умерев, мы превращаемся в эти самые “живые атомы”, которые, когда-нибудь, через громадное космическое время вновь могут соединиться, образовав наши прежние живые тела. Вот такое материалистическое, космическое бессмертие получается...

* * *

Есть у Бунина дневниковая запись о том, что ему, перечитывая в очередной раз “Анну Каренину”, иногда хочется поправить, “улучшить” толстовский текст. Странное желание, если не сказать жёстче. Хорошо представляешь, как и что стал бы он “править”. Многословие, длинноты, корявости и нескладности текста. И, конечно, не улучшал бы его, а портил, потому что во всём перечисленном некая глубинная суть толстовского текста живёт, художественность его, совершенно особенная, поразительно и неповторимо естественная, простая и могучая. Подумал об этом, перечитывая “Идиота” Достоевского. Как прекрасно написано начало: вагон, разговор князя Мышкина с Рогожиным, посещение Епанчиных. И как сумбурна, тесна, тяжела для чтения середина романа! Вот тут, пожалуй, Бунину нашлась бы работа, но такое ему, разумеется, никогда в голову не приходило и не могло прийти. Уж очень он его, Достоевского, не любил. Да и понятно, антиподами они были как художники, да, пожалуй, и как люди...

* * *

Двухлетняя правнучка Анюта в детском саду пробыла уже неделю и ей там нравится, не плакала даже ни разу. Когда узнал такое, что-то меня странно царапнуло. Вспомнилось, как я, пятилетний уже, попав в детсад, проплакал целый день безутешно. Слабак, что ли, был такой никчёмный? А может, дело в том, что у неё к людям разным, обществу, хоть и малому, привычка есть, я же четыре военных года и ещё год лишь с матушкой и тётушкой в глуши, в хуторке крохотном провёл — вот и не было привычки к другим, посторонним людям. И играть привык одиноко, и в окрестностях хаты нашей бродить. Как в скиту монастырском жил, потому, может, многолюдье дetsадовское так меня и ошарашило. Дитя войны, даже и в этом смысле...

* * *

Умер от инсульта наш поэт и краевед Виктор Пухов. Хорошо умер, на девятом десятке, и быстро. И очень его жаль, добрый и уютный какой-то был человек. Боровск свой родной очень любил. “Древности”, как он говорил, собирал всю жизнь. Мечту имел заветную и тоже чем-то уютную: сокровища Наполеона, брошенные им, по легенде, при отступлении из Москвы, найти где-то в окрестностях Боровска. Были у него для этого какие-то тайные “наколки”. Да и не одна мечта была, было и дело — хаживал в “поле” с лопатой и киркой, как геолог заправский.

Бывало, встретишься с ним и спросишь, подмигнув: “Не нашёл? — Пока нет”, — отвечал он серьёзно.

И вот не только его жаль, но и мечты его тоже. Уж очень было трогательно, мило...

А вскоре после Пухова ещё смерть — поэта и издательницы Нины Смирновой. Также от инсульта и всего-то в шестьдесят лет. Энергии она была поразительной, фонтанировала просто ею, и брызги до окружающих долетали. Как-то встретились, она и говорит напористо: “Ты должен гениальный роман написать, а я его издам. И название дарю: “Золотое руно”. Вот, вспомнил, и хоть слезу роняй...

* * *

Как сложно и мучительно живут и противоборствуют в человеке вера и неверие! Поэзия Тютчева особенно яркий этому пример. Есть стихи, не оставляющие сомнения в том, что автор человек верующий, но нередко есть и иные, прямо противоположные: “Мужайся сердце до конца, и нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе”. Вот и живи, мучаясь, между такими крайностями, как хочешь и как можешь... Было нечто подобное и в Чехове, но гораздо мягче и спокойней. Вот из одного из писем: “Между верой и неверием лежит огромное поле, которое всю жизнь переходит истинный мудрец”. Переходит, но доходит ли до цели своей конечной, вот вопрос. Двойственность такая, на мой взгляд, касается очень многих, если не большинства...

* * *

Не так и давно исполнилось сто лет со дня рождения моей матушки. Лежит она на прекрасном кладбище, на самом краю, над речкой нашей чудесной Калужкой. Лучшего места нет и быть не может. Я уже вплотную придвинулся к возрасту материнского ухода и, глядишь, лягу рядом с ней. Мысль горьковатая, но и отрадная тоже. На любимом месте последние полвека жил, на любимом месте и в землю лягу... Матушка была человеком редчайшей, истинно христианской доброты и любила всех людей подряд. И её все любили. А как умерла, так с тех пор вину свою перед ней и чувствую. И даже не за огорчения немалые, которые ей доставлял порой, а за недостаток внимания и заботы в самом простом, житейском смысле. Что делать, все мы задним умом крепки...

* * *

*Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? Но жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идёт, и плачет, уходя.*

Афанасия Фета стихи — и непонятные, и гениальные одновременно. Что за “огонь” такой, по сравнению с которым и самой жизни не жаль? Сколько ни думай, но ничего, кроме огня любви или творчества, не придумаешь. Выберем любовь, конечно. Но как же её жизни предпочесть можно? Без жизни и любви быть не может. Не находится ответа, а стихи всё равно гениальные. Тут сердце решает, а не рассуждения головные...

* * *

Пришвин считал главным своим произведением “Дневник”, который писал всю жизнь. Вот он и издан, наконец, — в 18-ти томах! Самый большой, наверное, не только в русской, но и в мировой литературе. Да и по содержанию, глубине мысли — один из первых, конечно. (Пришлось из него

большие отрывки читать.) Узнал я про это по радиопередаче и запомнил дословно приведённую из “Дневника” фразу: “Я уцелел потому, что сохранил личность и знал, что жизнь прекрасна”. Массовые репрессии и гибель при них многих и многих писателей имел он в виду, конечно. А ведь был близок к тому, чтобы покончить с собой, — уйти в лес, лечь в глухом месте и умереть. Есть такая запись в “Дневнике”. Удержался же от этого, на мой взгляд, по той причине, что именно знал, что жизнь прекрасна. Вот если бы он такое не знал, а только чувствовал, то мог бы и не удержаться. Потому что знать — это твёрдо и постоянно, а лишь чувствовать — зыбко и переменчиво. Сегодня жизнь хороша, а завтра вдруг такова, что лучше из неё уйти...

* * *

Олимпиада в Южной Корее, на арене женщины-фигуристки. Объявили нашу Евгению Медведеву, а комментатор добавил, что она выступит в роли Анны Карениной. В костюме у неё кое-где чёрные полоски и клочки траурного такого вида.

Вот замерла она в центре арены, и тут же вместо музыки раздаётся типичный громкий вокзальный шум. Укальвает догадка, что это обозначает станцию Обираловку, где Анна закончила свою жизнь, бросившись под поезд. Потом, после шума музыка могучая и трагическая, и танец Жени потрясающей, отчаянной силы и красоты. Прекрасно так, что дышать перестаёшь. Вот последний прыжок Жени, вот она замерла — и тут же гудок паровозный, страшный — и Женья роняет голову на грудь. Всё кончено...

А потом, через мгновение полной, знобящей тишины — овация обвальная. Плачет Женья, плачет великий тренер Тарасова, плачут зрители... О чём? О том, что жизнь прекрасна и ужасна. Ужасна и прекрасна...